

A night scene in a forest. A young girl with long red braided hair, wearing a white dress with red embroidery, stands barefoot. A large grey wolf with glowing yellow eyes stands beside her. A ghostly figure with two large white eyes and outstretched hands floats in the air. An old woman with white hair, wearing a dark cloak and holding a gnarled staff, looks up at the ghost. The background shows a forest path, trees, and a full moon with birds flying across it.

ВОСЬМАЯ ПТИЦА

Песнь Семистрела

Николай Чухломин

Восьмая птица. Песнь Семистрела

«Автор»

2026

Чухломин Н.

Восьмая птица. Песнь Семистрела / Н. Чухломин — «Автор»,
2026

Когда старый знахарь Ведагор уходит за Кромку, его внучка находит в остывшей золе выжженный знак — стрелу. С этого начинается история Рода Ладимировых, разбросанного по свету и забывшего о своём единстве. Семь ветвей. Семь добродетелей. Семь голосов, которые должны зазвучать вместе, чтобы древний оберег Семистрел запел вновь. В Ладово съезжаются те, кто годами не говорил друг с другом: угрюмый кузнец, лесная затворница, городской писарь, вдова с сыном-полукровкой. Они не хотели возвращаться — но древний зов сильнее обид. А ещё есть восьмая ветвь — та, что была стёрта из памяти самой Пустотой. Та, без которой песнь не состоится. Светлое славянское фэнтези о семье, корнях и силе, которая рождается, когда чужие снова становятся родными. О доме, который ждёт. И о птице, которую никто не видит, но без неё не будет лада.

© Чухломин Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Пепел и сверчок	5
Глава 2. Вода и зола	7
Глава 3. Железо и мёд	11
Глава 4. Тропа и чернила	15
Глава 5. Искра и пепел	19
Глава 6. Семь голосов	23
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Николай Чухломин

Восьмая птица. Песнь Семистрела

Глава 1. Пепел и сверчок

В которой Забава не может уснуть, а печь ведёт себя странно

Ночь после похорон Деда Ведагора выдалась тихой — такой тихой, что слышно было, как мыши скребутся под половицами, а в трубе гудит ветер, запутавшийся в старой вьюшке.

Забава лежала на полатах, натянув овчинный тулуп до самого подбородка, и смотрела в темноту широко раскрытыми глазами. Сон не шёл. Перед глазами всё ещё стояло лицо Деда — строгое, с глубокими морщинами у рта и светлыми, как озёрная вода, глазами. Теперь эти глаза были закрыты. Навсегда.

Дом дышал.

Старые брёвна поскрипывали, остывая после дневной топки. Где-то в красном углу едва слышно потрескивала лампадка. Пахло сушёной мятой, зверобоем и ещё чем-то — горьковатым и терпким, что всегда сопровождало Деда при жизни. Бабушка Мирослава сказала, что это запах его снадобий. Но Забаве казалось — это запах самой мудрости.

Она уже почти задремала, когда услышала звук.

Всхлип.

Тихий, сдавленный, похожий на плач ребёнка, которому велели молчать. Забава замерла. Кот Мураш спал на лавке у печи, свернувшись рыжим клубком, и даже ухом не повёл.

Всхлип.

Звук шёл из печного устья.

Забава села, свесив босые ноги с полатей. Пол был холодным — ночь стояла осенняя, с первыми заморозками. Она нащупала валенки, сунула в них ноги и, кутаясь в платок, подошла к печи.

Чело печи ещё хранило тепло, но угли давно прогорели. В золе что-то мерцало.

Нет, не угли.

Забава присела на корточки, всматриваясь. В серой, ещё тёплой золе проступал **знак** — выжженный, будто кто-то провёл раскалённой кочергой. Стрела. Длинная, прямая, с оперением на конце. И указывала она вниз, под половицу у самого печного подпечка.

— Деда?.. — прошептала Забава одними губами.

Стрела в золе медленно угасала, теряя очертания, словно рисунок на запотевшем окне. Но Забава успела заметить главное.

Она просунула пальцы в щель между половицами. Доска подалась легко, будто её уже поднимали сотни раз. Внизу, в темноте подпола, что-то белело.

Береста.

Сложенный вчетверо кусок бересты, перевязанный суровой ниткой.

Забава вытащила находку, и в тот же миг в печи громко, отчётливо **стрекотнул сверчок**. Да так громко, будто сидел не в запечье, а прямо у неё в ушах.

Она вздрогнула, выронила бересту, но тут же подхватила снова. Сверчок замолчал. Мураш поднял голову, лениво зевнул и снова уснул.

Забава развернула бересту. На внутренней стороне, выведенные углём, а может, и чем-то другим — слишком ровными были линии — темнели слова:

«Где семеро поют — там Лад живёт. Где семеро молчат — там Серость грядёт. Слушай пепел, внучка. Я ещё не ушёл. Ведагор».

Сердце Забавы забилося часто-часто. Она перечитала дважды, потом трижды. Почерк был дедов — она узнала его по завитку у буквы «Ж» и длинному хвосту у «Щ».

— Ты не ушёл? — прошептала она в темноту печного зева. — А где же ты?

Печь молчала. Только ветер в трубе вздохнул протяжно и жалобно.

Забава прижала бересту к груди и вдруг почувствовала, как по щекам потекли слёзы — не горькие, а какие-то тёплые, облегчающие. Дед не просто умер. Он что-то задумал. Что-то важное. И позвал её первой.

За окном прокричал первый петух. Где-то в деревне ему ответил второй, потом третий. Ночь уходила, уступая место серому осеннему рассвету.

Забава аккуратно сложила бересту, спрятала её за пазуху и забралась обратно на полати. Теперь она знала, что утром расскажет всё старшему брату Яромиру.

А пока — нужно было сделать вид, что она спала.

Но прежде чем закрыть глаза, она снова взглянула на печь. Из устья, из самой глубины, на неё смотрели два уголька — не красных, а золотистых, тёплых. И ей показалось, что они подмигнули.

Сверчок запел снова — на этот раз тихо, убаюкивающе.

И Забава уснула.

Глава 2. Вода и зола

В которой Яромир видит странный сон, а Бабушка Мирослава достаёт старый сундук Яромиру в эту ночь тоже не спалось.

Он лежал в летней пристройке, куда перебрался ещё по осени, чтобы не мешать младшим сёстрам и не слушать их бесконечное шушуканье. Восемнадцать лет — возраст, когда хочется тишины и собственного угла. Но сегодня тишина не приносила покоя.

Дед Ведагор лежал в земле уже сутки. Яромир сам опускал первый ком глины на крышку домовины, сам слышал, как глухо ударилась земля о дерево. Но что-то не давало ему поверить, что всё кончено.

Он ворочался с боку на бок, сбивая соломенный тюфяк, пока наконец не провалился в тяжёлую, вязкую дрёму.

И тогда пришёл сон.

Сначала — запах. Густой, медовый, с примесью воска и сушёных трав. Так пахло в дедовой клети, где он хранил свои снадобья и обереги. Потом — свет. Неяркий, колеблющийся, будто от лучины.

Яромир стоял посреди знакомой клети, но всё вокруг было странным, размытым, словно смотрел он сквозь запотевшую слюду. Полки с горшками и тuesками уходили вверх, теряясь в темноте. А в центре, прямо на утопанном земляном полу, горел **огонь**.

Не костёр — маленький, опрятный огонёк, пляшущий прямо на горсти золы.

И вокруг этого огонька сидели **семеро**.

Яромир не мог разглядеть лиц — только силуэты, кольшущиеся, как отражения в воде. Один — высокий и широкоплечий. Другой — сгорбленный, опирающийся на посох. Третий — тонкий, женский, с распущенными волосами. Четвёртый — маленький, детский. Пятый, шестой, седьмой — они сливались в полумраке, но Яромир точно знал: их семеро.

Они молчали.

И от этого молчания веяло таким холодом, что огонёк в центре начинал дрожать и угасать.

— Пойте, — раздался голос. Яромир вздрогнул.

Голос был знакомым — низкий, с хрипотцой, будто говорил человек, привыкший подолгу молчать. Голос Деда.

— Пойте, — повторил голос. — Пока молчите — Серость идёт. Уже у порога.

Огонёк дёрнулся в последний раз и погас.

И в тот же миг Яромир увидел её. Серость. Она не была чудовищем. Она была как туман — бесцветный, безвкусный, беззвучный. Она вползала под дверь, сочилась сквозь щели в стенах. Там, где она проходила, тускнели краски, замолкали звуки, забывались имена.

Яромир хотел закричать, но голос пропал. Хотел побежать — ноги приросли к полу.

И тогда один из семерых силуэтов шевельнулся. Тот, что был меньше всех. Детский. Он протянул руку к золе, зачерпнул горсть и вдруг **запел**. Тоненько, неуверенно, но чисто. Огонёк вспыхнул снова.

— Найди остальных, — прошептал голос Деда. — Семистрел должен запеть. Иначе...

— Иначе что? — выдохнул Яромир, обретая голос.

— Иначе забудете, как пахнет хлеб из печи. Как зовут прабабку. Как смеются дети.

Яромир проснулся в холодном поту.

За окном серел рассвет. Петухи уже откричали. Со стороны дома доносились голоса — мать Милана гремела ухватом у печи, отец Братислав что-то ворчал во дворе, запрягая коня.

Яромир сел, потёр лицо ладонями. Сон был ярче яви. Он всё ещё чувствовал запах воска и слышал отголосок детской песни.

— Семистрел, — произнёс он вслух, пробуя слово на вкус.

Слово было незнакомым, но ложилось на язык правильно, как ключ в родной замок.

Он накинул зипун и вышел во двор. Нужно было найти Забаву. Она всегда первой чуяла то, что другие не замечали.

Забаву ждала его у колодца.

Она сидела на перевёрнутой бадейке, болтая ногами, и вид у неё был такой загадочный, что Яромир сразу понял — сестра что-то знает.

— Ты тоже? — спросил он, останавливаясь напротив.

— Что «тоже»?

— Видела. Или слышала. Или нашла.

Забаву прищурилась, потом быстро оглянулась на дом и вытащила из-за пазухи сложенную бересту.

— Дед оставил, — прошептала она. — В золе. Ночью. И сверчок пел так громко, будто на ухо мне забрался.

Яромир развернул бересту, прочитал. Потом перечитал. Нахмурился. — «Где семеро поют — там Лад живёт», — повторил он вслух. — Мне Дед во сне сказал почти то же. Семеро. Семистрел. И Серость у порога.

— Какая Серость? — испугалась Забава.

— Такая, что всё живое в камень обращает. Не в прямом смысле, а... — он замялся, подбирая слова. — Забываешь всё. Кто ты. Откуда. Кого любишь. Как бабушку звали.

— Мирослава, — машинально ответила Забава и тут же осеклась. — Ты думаешь, мы можем забыть?

— Дед думает, что можем. Иначе зачем ему из-за Кромки нам весточки слать?

В этот момент дверь избы распахнулась, и на порог вышла Бабушка Мирослава.

Она была высокой, сухой, с прямой, как струна, спиной. Седые волосы убраны под платок, но из-под него выбивались серебряные пряди, поблёскивающие на утреннем солнце. Глаза — тёмные, глубокие, как омут у Старой Мельницы. В руках она держала **сундучок**. Небольшой, обитый потемневшей медью, с замком в виде птичьей лапы.

— Хватит шептаться у колодца, — сказала она негромко, но так, что оба внука вздрогнули. — В избу идите. Разговор будет.

В избе пахло ржаным хлебом и топлёным молоком. Мать хлопотала у печи, но Бабушка остановила её движением руки:

— Потом, Милана. Позови Тверда и Богдана. Светлану тоже нужно кликнуть, хоть она и в лесу схоронилась. И Любаву. Всех зови.

Мать замерла с ухватом в руке.

— Всех? Прямо сейчас?

— Сейчас, — отрезала Бабушка и поставила сундучок на стол.

Сундучок был старым — старше самой Бабушки, старше Деда, может, даже старше деревни. Медные накладки позеленели от времени, а замок в виде птичьей лапы, казалось, сжимался и разжимался сам по себе, будто дышал.

Яромир и Забава переглянулись.

Бабушка села на лавку, положила морщинистые руки на крышку сундучка и закрыла глаза.

— Ведагор ушёл, — произнесла она тихо, будто разговаривала не с живыми, а с кем-то незримым. — Но Кромка за ним не закрылась. Он оставил щель. И через эту щель в наш мир сочится... нечто.

— Серость, — выдохнула Забава.

Бабушка резко открыла глаза и посмотрела на внучку.

— Откуда знаешь?

Забава молча протянула ей бересту. Бабушка взяла, поднесла близко к глазам, пошевелила губами, читая. Лицо её осталось непроницаемым, но пальцы, державшие бересту, дрогнули.

— Значит, началось, — сказала она наконец. — Он предупреждал меня. Давно, ещё когда вы под стол пешком ходили. Говорил: «Если уйду раньше, чем Семистрел соберу, — жди беды». Я думала, старушечьи сказки. А оно вон как повернулось.

Она повернулась к Яромиру.

— Что во сне видел? Всё рассказывай, без утайки.

Яромир рассказал. Про семерых у огня. Про молчание. Про детский голос, зачерпнувший золу и заставивший огонь гореть снова. Про Серость, вползающую под дверь.

Бабушка слушала, не перебивая. Когда он закончил, она долго молчала, глядя на сундучок.

— Семистрел, — произнесла она наконец. — Это не вещь. Это... родство. Семь ветвей нашего Рода. Семь домов. Семь голосов, которые должны звучать вместе. Пока они в ладу — Род защищён. Но мы разбрелись, как муравьи из разорённого муравейника. Каждый сам по себе. Тверд в своей кузне дни и ночи, на семью не смотрит. Светлана в лес ушла, обиду лелеет. Богдан только рыбу свою и слышит. Любава... — она запнулась. — Любаву мы сами чураемся, а в ней, может, главная сила.

— А Златомир? — спросила Забава. — Который в городе писарем?

— И он, — кивнула Бабушка. — И ещё одна ветвь... — Она замолчала и провела ладонью по крышке сундучка.

Птичья лапа на замке вдруг **шевелинулась**.

Забава ойкнула. Яромир отшатнулся. Даже мать Милана, застывшая у печи, выронила ухват.

— Что это? — прошептал Яромир.

— Сундук Древа, — ответила Бабушка. — В нём — память Рода. Имена. Даты. Свадьбы. Рождения. Смерти. И... — она помедлила, — кое-что ещё.

Она наклонилась к замку и что-то прошептала — так тихо, что никто не разобрал слов. Птичья лапа разжалась. Крышка приоткрылась на палец.

Изнутри пахло теплом, сухими травами и чем-то ещё — древним, как сама земля.

— Не время открывать полностью, — сказала Бабушка, останавливая руку Забавы, которая уже потянулась к крышке. — Сначала нужно собрать всех. Семерых. Только тогда Сундук покажет то, что скрыто.

— А что скрыто? — не удержался Яромир.

Бабушка посмотрела на него долгим, тяжёлым взглядом.

— Седьмая ветвь, — сказала она. — Та, о которой мы забыли. Или нам помогли забыть. В печи вдруг громко, отчётливо **стрекотнул сверчок**.

Все вздрогнули. Забава метнулась к печному устью, заглянула внутрь. В золе, там, где ночью была выжжена стрела, теперь светились **семь маленьких огоньков** — ровно семь, как угольки, забытые после топки. Но они не гасли. Они мерцали, и каждый был своего цвета: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, золотой и... чёрный.

— Семь стрел, — прошептала Забава. — Бабушка, смотри!

Но когда все подошли к печи, огоньки уже погасли. Только сверчок продолжал петь — тихо, настойчиво, будто звал кого-то.

Бабушка Мирослава выпрямилась и оглядела внуков.

— Завтра на рассвете пойдёте к Матушке, — сказала она. — К той, что за лесом живёт, у Калинова ручья. Ягине.

— К Бабе-Яге?! — ахнула Забава.

— Не смей её так называть, — строго оборвала Бабушка. — Она не Баба и не Яга. Она — Ягиня, Берегиня здешних мест. Если кто и знает про седьмую ветвь, то только она. Дед ваш к ней хаживал. И не раз.

Яромир нахмурился.

— Почему она нам поможет?

Бабушка помолчала, потом едва заметно улыбнулась — впервые за всё утро.

— Потому что она — наша кровь. Дальняя, древняя, но кровь. И она ждёт. Всегда ждала. Сверчок в печи смолк.

И в наступившей тишине всем показалось, что дом вздохнул — глубоко, облегчённо, будто старик, наконец-то выговоривший давнюю тайну.

Глава 3. Железо и мёд

В которой Тверд-кузнец слышит стук в наковальню изнутри, а Богдан-рыбак вытаскивает из реки то, чего не должно быть.

Весть о том, что Бабушка Мирослава открыла Сундук Древа, разлетелась по округе быстрее ветра. Хотя никто из домашних рта не раскрывал — видно, сам дом разнёс, через скрип половиц, через стук ставень, через дым из печи, который в то утро поднимался не вверх, а стелился по земле, словно искал кого-то.

Первым, сам того не ожидая, отозвался Тверд.

Кузня стояла на отшибе, у оврага, где глина была жирной и красной, а вода в ручье — ледяной даже в летний зной. Тверд поселился там десять лет назад, после большой ссоры с отцом. Ссоры, о которой в семье старались не говорить.

Он работал с рассвета до заката. Молот в его руках пел — то грозно, то ласково, и железо слушалось его, как живое. Крестьяне из трёх окрестных деревень везли ему заказы: кому сошник перековать, кому топор насадить, кому бережный гвоздь в косяк вбить. Тверд брался за всё, работал споро, денег брал мало, но и к себе не подпускал никого.

Жена его, Голуба, тихая женщина с вечно испуганными глазами, давно привыкла, что муж говорит с ней только по делу. Сын Мирята, десяти лет от роду, отца боялся и любил одновременно — как бояться и любят грозу.

В то утро Тверд ковал серп. Железо было капризным, крошилось по краю, и он уже дважды перегревал заготовку. Что-то шло не так. Молот бил мимо, искры летели не туда, а в ушах стоял странный гул — будто далёкий колокол звонил под землёй.

Он опустил молот, вытер пот со лба и вдруг услышал **стук**.

Не снаружи. Изнутри. Из наковальни.

Тук. Тук-тук. Тук.

Тверд замер. Наковальня была старой — досталась ему от деда, а тому от его деда. Говорили, её отлили ещё при Первопредках, и в металл был заговорен какой-то секрет. Но Тверд в сказки не верил. Он верил в железо, в огонь и в свои руки.

Тук. Тук-тук-тук.

Теперь стук был отчётливым, ритмичным, словно кто-то маленький сидел внутри наковальни и бил молоточком по металлу изнутри.

— Отец? — Мирята стоял в дверях кузни, бледный, с расширенными глазами. — Ты слышишь?

— Слышу, — хрипло ответил Тверд. Он положил ладонь на холодный бок наковальни. Металл дрожал. Не от его прикосновения — сам по себе.

И тогда Тверд вспомнил.

Вспомнил, как двадцать лет назад, ещё при жизни Деда Ведагора, тот пришёл в кузню и что-то долго шептал над наковальней. Тверд тогда был молод, горяч, отмахнулся: «Бабы сказки, отец. Железо слов не слышит». Дед ничего не ответил, только посмотрел долгим, тяжёлым взглядом и ушёл.

Больше они не говорили о том случае. А через год Тверд поссорился с отцом из-за земли, хлопнул дверь и ушёл жить к кузне.

Теперь наковальня стучала. И стук этот складывался в слова.

Тук — При. Тук-тук — Ходи. Тук — До. Тук-тук — Мой.

— «Приходи домой», — прошептал Мирята. — Она говорит: приходи домой.

— Кто «она»? — резко спросил Тверд.

— Наковальня. Разве ты не слышишь?

Тверд слышал. И от этого слышанного ему стало не по себе. Он, здоровенный мужик с руками, способными гнуть подковы, почувствовал себя маленьким мальчиком, которого зовёт мать из-за околицы.

— Собирайся, — буркнул он сыну. — К Бабке пойдём. В Ладово.

— К Бабушке Мирославе? — глаза Миряты загорелись.

— К ней. Хватит. Настучалась.

Он погасил горн, накинул кожух и, не оглядываясь, зашагал к деревне. Мирята бежал следом, едва поспевая. А наковальня за их спинами смолкла — будто сказала всё, что хотела.

Вторым в тот же день, сам того не ведая, откликнулся Богдан.

Он сидел в лодке на излуине реки Смородины и смотрел на поплавок. Рыба не клевала. Вообще. Слово вся ушла на дно и затаилась. Это было странно — осенний клёв обычно добрый, а тут третий час ни поклёвки.

Богдан был младшим сыном Ведагора. В отличие от угрюмого Тверда, он слыл весельчаком и балагуром. Любил выпить медовухи, спеть песню, рассказать байку. Жил один — жена умерла пять лет назад родами, детей Бог не дал. Он не тужил, по крайней мере, виду не подавал. Рыбачил, бортничал, торговал мёдом и воском. С родней виделся редко — на праздники да на поминки.

Но сегодня на душе было муторно.

Поплавок дёрнулся.

Богдан встрепенулся, схватился за удилице. Поплавок ушёл под воду резко, с головой, и леска натянулась так, что удилице затрещало.

— Ага, попалась, матушка! — азартно крикнул Богдан и начал вываживать.

Рыбина шла тяжело, упористо, будто не щука или сом, а само дно речное вцепилось в крючок. Богдан кряхтел, упирался ногами в борта, но леска не рвалась, и добыча медленно поднималась к поверхности.

Когда из воды показалось то, что он поймал, Богдан едва не выронил удилице.

Это был **венец**.

Старинный девичий венец — очелье, расшитое речным жемчугом и серебряной нитью. Не ржавой, не почерневшей от воды, а сияющей, будто только вчера из-под рук мастерицы. Жемчуг светился изнутри мягким, лунным светом. А в центре, надо лбом, красовался знак — **стрела с семью лучами**.

Богдан смотрел на венец, и в груди у него что-то переворачивалось. Он узнал эту вещь. Видел когда-то в детстве, в бабушкином сундуке. Это был венец **Яромылы** — Первопредки, жены Ладимира. Той самой, что положила начало Роду.

— Не может быть, — прошептал он.

Венец в его руках потеплел. И Богдан вдруг почувствовал запах — густой, медовый, с примесью воска и трав. Так пахло в доме у матери, когда он был маленьким и ещё верил, что всё будет хорошо.

Из-за излуины показалась ещё одна лодка. В ней сидела женщина в тёмном платке, худая, с острыми скулами и усталыми глазами. Любава. Та самая, что вернулась в деревню три года назад вдовой с ребёнком, и которую Род принял холодно, почти враждебно.

— Богдан? — окликнула она. — Ты чего сидишь, как громом поражённый?

Он молча поднял венец. Любава ахнула, и вёсла выпали у неё из рук.

— Это же... Откуда?

— Река отдала, — хрипло сказал Богдан. — Или Дед послал. Или ещё кто.

Они переглянулись, и без слов стало ясно: нужно идти к Бабушке. Прямо сейчас.

Третьей, сама того не ожидая, пришла Светлана.

Она жила в лесу уже семь лет. Ушла после того, как муж её, Радим, пропал без вести на охоте. Одни говорили — зверь задрал. Другие шептались — в Навь ушёл, за Кромку. Третьи и вовсе винили саму Светлану: мол, характер у неё больно тяжёлый, вот и не выдержал мужик.

Она не оправдывалась. Собрала нехитрые пожитки, взяла дочь Весняну, которой тогда было пять лет, и ушла в лес. Поставила избушку у старого капища, развела огород, научилась говорить с травами и птицами. Люди её боялись и уважали — ходили за снадобьями, но в гости не звали.

В тот день Светлана собирала поздние опята, когда услышала **песню**.

Пела не птица. Не человек. Пел лес — шёпотом листвы, звоном ручья, скрипом сосновых стволов. И в этом пении Светлана разобрала слова:

«Семистрел зовёт. Семистрел плачет. Вернись, Лесная. Вернись, пока не поздно».

Она выронила корзину. Грибы рассыпались по мху — красные шапки на зелёном бархате, как капли крови.

— Мама? — Весняна, теперь уже двенадцатилетняя, тоненькая, как тростинка, смотрела на неё испуганными глазами. — Ты слышала?

— Лес говорит, — медленно произнесла Светлана. — Впервые за семь лет — говорит.

— Что он сказал?

— Что нам пора домой.

Весняна не стала спорить. Она давно мечтала увидеть бабушку, о которой мать почти не рассказывала. Она молча собрала рассыпанные грибы, взяла мать за руку, и они пошли.

Не по тропе — напрямик, через бурелом и овраги. И лес расступался перед ними, будто живой. Ветки не цепляли, корни не подставляли подножек. Даже волки, чьи следы темнели на влажной земле, обходили их стороной.

У опушки их ждал Волк.

Огромный, серебристо-серый, с глазами цвета старого мёда. Он стоял поперёк тропы и смотрел прямо на Светлану. Весняна вскрикнула, прижалась к матери.

— Не бойся, — тихо сказала Светлана. — Это не зверь. Это... вестник.

Волк медленно склонил голову — не угрожающе, а почтительно. Потом развернулся и побежал в сторону Ладово, время от времени оглядываясь, будто звал за собой.

— Он покажет дорогу, — поняла Светлана. — Идём, дочка. Нас ждут.

К вечеру того же дня в избе Бабушки Мирославы собрались все, кроме одного.

Тверд с Мирятой пришли первыми. Кузнец стоял у порога, мял в руках шапку и не решался войти. Бабушка сама вышла к нему, обняла молча и ввела в дом. Он сел в угол, на лавку, где сидел когда-то мальчишкой, и плечи его, всегда такие прямые и жёсткие, вдруг опустились.

Богдан и Любава пришли вместе, неся венец Яромилы, завернутый в чистый рушник. Любава держала за руку сына, Некраса, темноволосого и темноглазого, не похожего на местных. Он смотрел на всех настороженно, но без страха — будто ждал чего-то подобного всю свою недолгую жизнь.

Последними, уже в сумерках, вошли Светлана с Весняной. За их спинами, на околице, мелькнул серебристый волчий хвост и исчез в подступающем тумане.

Бабушка оглядела собравшихся. Пять ветвей. Пятеро из семи.

— Златомир в городе, — сказала она. — За ним нужно посылать.

А седьмая ветвь...— Кто она, бабушка? — спросила Забава, которая весь день не отходила от печи, будто ждала, что сверчок запоёт снова. — Кто седьмая?

Бабушка помолчала, потом подошла к Сундуку Древа и положила на него ладонь.

— Та, о ком мы забыли, — повторила она. — Вернее, та, кого нам **помогли** забыть. И я не знаю, жива ли она. Но завтра на рассвете Яромир и Забава пойдут к Ягине. Она знает. Она всегда знала.

В печи вдруг снова стрекотнул сверчок — громко, отчётливо, будто подтверждая её слова.

И в этот раз ему ответил другой сверчок. С улицы. Потом третий — из подпола. Потом ещё и ещё, со всех углов, со всех концов деревни, словно сама земля пела многоголосым хором.

Собравшиеся переглянулись.

— Семистрел просыпается, — прошептала Бабушка. — Слышите? Он зовёт.

Глава 4. Тропа и чернила

В которой Яромир и Забава встречаются того, кого не ждали, а Златомир получает письмо, пахнущее дымом.

Рассвет застал Яромира и Забаву уже далеко от Ладово.

Они вышли затемно, как велела Бабушка. С собой взяли только узелок с хлебом и солью, маленький туюсок с мёдом — в дар Ягине — и дедову бересту, которую Забава спрятала за пазуху, поближе к сердцу.

Дорога к Калинову ручью лежала через лес, но не простой, а заповедный — тот, что местные называли **Молчаливым бором**. Здесь деревья росли так густо, что даже в полдень царил полумрак, а мох на стволах светился зеленоватым, словно впитал лунный свет.

— Почему он Молчаливый? — спросила Забава, перешагивая через узловатый корень.

— Потому что птицы здесь не поют, — ответил Яромир. — Так Бабушка говорила. Только если лес сам захочет заговорить.

— А он хочет?

Яромир не ответил. Он прислушивался. Вокруг действительно стояла тишина — не мёртвая, а какая-то **внимательная**, будто каждое дерево, каждый куст, каждый муравей под ногами замерли и смотрели на путников.

Тропа петляла, то ныряя в овраги, то взбираясь на холмы. Иногда казалось, что она ведёт их по кругу — вон тот замшелый валун с тремя трещинами они уже проходили. Или не проходили?

— Яромир, — тихо позвала Забава. — А если мы заблудимся?

— Не заблудимся, — ответил он увереннее, чем чувствовал. — Бабушка сказала: идите по тропе и никуда не сворачивайте. Лес сам выведет, если захочет.

— А если не захочет?

Вместо ответа Яромир вдруг остановился и вскинул руку.

Впереди, прямо посреди тропы, стояла **прялка**.

Старая, деревянная, с потрескавшимся колесом и выцветшей резьбой. Но веретено на ней было новое, острое, блестящее — будто только что из-под ножа. И оно вращалось. Само по себе. Медленно, с тихим жужжанием.

Из-за прялки не было видно, кто сидит. Но пряжа тянулась — тонкая, серебристая, светящаяся, как паутина на рассвете. Она уходила вверх, в кроны деревьев, и терялась где-то в вышине.

— Здравствуй, хозяйюшка, — сказал Яромир, вспомнив наставления Бабушки. — Позволишь пройти?

Прялка остановилась. Жужжание смолкло.

Из-за неё поднялась женщина.

Высокая, стройная, в длинной белой рубахе, расшитой красными птицами. Волосы — светлые, почти седые, хотя лицо было молодым. Глаза — цвета неба перед грозой, тёмно-синие, глубокие. В руках она держала веретено с намотанной серебряной нитью.

— Знаешь, кого звать хозяйюшкой, — сказала она негромко, но голос её звучал сразу отовсюду, будто шелест листвы. — Уже хорошо. Многие нынче забыли.

— Ты Полудница? — выпалила Забава и тут же прикусила язык.

Женщина улыбнулась — и улыбка эта была как солнечный луч, пробившийся сквозь тучи.

— Полудница, — подтвердила она. — Но не та, что детей в поле пугает. Я — Пряха. Нить судьбы пряду. Вашей судьбы в том числе.

Яромир похолодел. Бабушка рассказывала о Пряхах — тех, что сидят у истоков рек и плетут нити человеческих жизней. Встретить такую в лесу — к большим переменам.

— Что ты хочешь от нас? — спросил он.

— Не я от вас, — ответила Пряха. — А вы от меня. Вернее, от неё.

— Она указала веретеном на Забаву.

Девочка попятилась, но Пряха покачала головой:

— Не бойся, малая. Я только покажу.

Она протянула руку и коснулась лба Забавы прохладными пальцами. И Забава вдруг **увидела**.

Она увидела огромный дуб — тот самый, что рос на околице Ладово. Но он был другим: не старым и морщинистым, а молодым, полным сил, с зелёной кроной, уходящей в самое небо. На ветвях его сидели **семь птиц** — разных, не похожих друг на друга. Одна — сокол, гордая и быстрая. Другая — сова, мудрая и молчаливая. Третья — ласточка, лёгкая и весёлая. Четвёртая — ворон, старый и печальный. Пятая — лебедь, белая и чистая. Шестая — журавль, высокий и зоркий. А седьмая...

Седьмая птица была **невидима**. Забава чувствовала её присутствие, слышала шелест крыльев, но не могла разглядеть. Только тень — прозрачную, дрожащую, как воздух над горячей печью.

— Где седьмая? — прошептала Забава. — Я не вижу её.

— Никто не видит, — ответила Пряха. — Потому что она **забыта**. Её имя стёрли из памяти Рода. Её ветвь отсекли от Древа. Но пока вы не найдёте её, Семистрел не запоёт. И Серость придёт.

Видение погасло. Забава покачнулась, и Яромир подхватил её под локоть.

— Кто стёр её имя? — спросил он жёстко. — Кто отсек ветвь?

Пряха отвела взгляд. Серебряная нить в её руках дрогнула.

— Тот, кто боится, что Род станет сильным, — сказала она тихо. — Тот, кто кормится раздорами и забвением. У него много имён, но вы зовите его **Тусклый**. Он не человек, не дух, не зверь. Он — как плесень на хлебе, как ржа на железе. Он питается тем, что вы забываете друг друга.

— Как с ним бороться? — спросил Яромир.

— Памятью, — просто ответила Пряха. — Любовью. И песней. А теперь идите. Ягиня ждёт.

Она отступила в сторону, и прядка её растаяла в воздухе, будто и не было. Только серебряная нить ещё мгновение светилась на тропе, указывая путь.

Яромир и Забава пошли дальше. За спиной у них снова зажужжало веретено, но теперь звук этот был не тревожным, а убаюкивающим, как колыбельная.

В тот же час, в трёх днях пути от Ладово, в городе Стольном, пробудился Златомир.

Он проснулся с тяжёлой головой и горьким привкусом во рту. Вчера был пир у воеводы — отмечали заключение торгового договора с заморскими гостями. Златомир, как младший писарь, сидел в дальнем конце стола и записывал условия, но вина всё равно выпил лишнего.

Он сел на лавке, потёр виски. Свет в оконце был серым, нездоровым, хотя солнце уже должно было подняться. Златомир подошёл к окну, отёрнул занавеску и замер.

Улицы Стольного тонули в **тумане**.

Но не в обычном осеннем тумане, что пахнет сыростью и прелой листвой. Этот туман был **бесцветным**. Он не был белым или серым — он был никаким. Словно кто-то выпил из мира все краски и оставил только блёклую, унылую муть.

Люди шли по улицам, опустив головы. Не разговаривали. Не здоровались. Даже собаки не лаяли.

— Что за наваждение? — пробормотал Златомир.

Он плеснул в лицо водой из кувшина, накинул кафтан и вышел на крыльцо. Туман коснулся его лица — холодный, липкий, и Златомиру вдруг стало **всё равно**. На работу. На воеводу. На родную деревню, от которой он так старательно открещивался. Зачем куда-то идти? Зачем что-то делать? Можно просто стоять и смотреть в пустоту.

Он уже почти поддался этому чувству, когда в кармане кафтана что-то **обожгло** его бок. Златомир сунул руку в карман и вытащил **гвоздь**.

Старый, ржавый, кривой гвоздь, который отец когда-то вбил в косяк его детской колыбели — «от сглаза». Златомир носил его с собой как память, хотя сам себе в этом не признавался. Сейчас гвоздь был **горячим**, почти раскалённым, хотя в тумане царил промозглый холод.

И он светился. Тускло, едва заметно, но светился — тёплым, ржаным светом.

Златомир сжал гвоздь в кулаке, и туман вокруг него расступился на шаг. В голове прояснилось.

— Что за чертовщина? — выдохнул он.

В этот момент к крыльцу подбежал мальчишка-посыльный. Он был бледен, запыхан, и в глазах его плескался страх.

— Господин писарь! Вам письмо! Из деревни! Сказали — срочно!

Златомир взял свёрнутый лист. Бумага была грубой, деревенской выделки, и от неё пахло **дымом**. Не пожаром — печным, домашним дымом, в котором смешались запахи берёзовых дров, сушёных трав и ржаного хлеба.

Он развернул письмо.

Почерк был бабушкин — неровный, старческий, но твёрдый.

«Златомир, внучек. Дед Ведагор ушёл за Кромку. Род в опасности. Семистрел зовёт. Бросай всё и приезжай. Немедля. Если не приедешь — забудешь, кто ты. Бабушка Мирослава».

Златомир перечитал письмо дважды. Потом посмотрел на гвоздь в своей руке — он всё ещё был тёплым. Потом на туман, который снова начал подбираться ближе.

— «Забудешь, кто ты», — повторил он вслух.

И вдруг с ужасом понял, что уже начал забывать. Он не мог вспомнить лицо матери. Только смутный силуэт, склонённый над прялкой. Не мог вспомнить, как пахнет в бабушкиной избе. Только этот дым от письма — но и он уже выветривался.

Златомир скомкал письмо, сунул за пазуху и крикнул мальчишке:

— Седлай коня! Живо!

Мальчишка убежал. Златомир вернулся в дом, стрёб в дорожный мешок смену белья, краюху хлеба и чернильницу с перьями — по привычке. Уже на пороге остановился, оглядел своё городское жилище: чистое, сытое, спокойное. И вдруг понял, что никогда не любил его. Оно было удобным, но не **родным**.

Он вышел на крыльцо. Туман расступился перед ним на два шага — гвоздь в кармане снова потеплел.

— Домой, — сказал Златомир вслух, пробуя слово на вкус. — Еду домой.

А в это время Яромир и Забава вышли на поляну.

Посреди поляны, у Калинова ручья, стояла избушка. Не на курьих ножках — на толстых дубовых пнях, обросших мхом и опятами. Крыша была крыта не соломой, а камышом, и на коньке сидела **сорока** — чёрно-белая, вертлявая, с любопытным глазом-бусиной.

Из трубы вился дымок. Пахло травами и чем-то сладким — не то мёдом, не то яблоками.

Дверь отворилась сама собой.

— Ну, здравствуйте, Ладимировы внуки, — раздался голос. — Долго же вы шли. Я уж думала, не дойдёте.

На пороге стояла Матушка Ягиня.

Она была не старая и не молодая — такого возраста, когда время перестаёт иметь значение. Волосы, седые и густые, заплетены в тугую косу, перевитую красной лентой. Глаза — зелёные, с золотыми искрами, как у кошки. Одета в простую понёву и вышитую рубаху, на плечах — тёплый платок с кистями. В руках держала **ступку** — но не с пестом, а с пучком каких-то трав.

— Проходите, — сказала она, отступая вглубь избы. — Разговор будет долгий. А ты, — она глянула на Забаву, — не бойся. Я не кусаюсь. По крайней мере, по вторникам.

Забава несмело улыбнулась и первой шагнула через порог.

Яромир, поколебавшись мгновение, последовал за ней.

Дверь за ними закрылась — сама собой, мягко, но плотно.

Сорока на крыше стрекотнула и улетела в лес.

Глава 5. Искра и пепел

В которой Ягиня рассказывает о забытой ветви, а Златомир узнаёт, что туман умеет говорить

Внутри изба Ягини оказалась больше, чем снаружи.

Яромир, переступив порог, первым делом заметил это — и замер, пытаясь осмыслить. Снаружи избушка была небольшой, приземистой, в два оконца. А внутри потолок терялся в полумраке, стены уходили куда-то в стороны, и повсюду, куда ни глянь, висели стеллажи. Деревянные, тёмные от времени, уставленные горшками, туесками, пучками сушёных трав, глиняными фигурками, связками перьев и ещё сотнями предметов, названий которых Яромир даже не знал.

Пахло здесь всем сразу: мятой и полынью, медовым воском и берёзовым дёгтем, свежим хлебом и старой пылью. Но запахи не спорили друг с другом, а сплетались в единое, тёплое, живое облако.

— Глазам не верю, — прошептала Забава, озираясь.

— И правильно делаешь, — усмехнулась Ягиня, проходя вглубь избы. — Глаза часто обманывают. Сердце — реже. Садитесь, в ногах правды нет.

Она указала на широкую лавку у печи. Печь здесь была огромной, сложенной из дикого камня, с лежанкой, на которой могло бы уместиться полдеревни. В устье весело плясал огонь, хотя дров видно не было — пламя словно питалось самим воздухом.

Яромир и Забава сели. Ягиня опустила напротив, в тяжёлое дубовое кресло с высокой спинкой, на которой были вырезаны незнакомые знаки — спирали, птицы, звёзды.

— Ну, — сказала она, складывая руки на коленях, — рассказывайте. Что видели, что слышали, что нашли.

Яромир начал первым. Рассказал о смерти Деда, о своём сне с семью силуэтами и угасающим огнём. О том, как Дед сказал: «Семистрел должен запеть». О том, что Бабушка открыла Сундук Древа, но не до конца.

Забава продолжила. О пепле в печи и выжженной стреле. О бересте с загадкой. О сверчке, который поёт человеческим голосом. О встрече с Пряхой-Полудницей и о седьмой птице, которую невозможно увидеть.

Ягиня слушала молча, не перебивая. Только глаза её, зелёные с золотыми искрами, становились всё темнее и глубже. Когда Забава закончила, в избе надолго повисла тишина. Только огонь в печи потрескивал да сверчок — теперь уже настоящий, крошечный — затянул свою вечернюю песню.

— Семистрел, — произнесла наконец Ягиня. — Давно я не слышала этого слова. Очень давно. Ещё с тех пор, как ваш Первопредок Ладимир пришёл ко мне за советом.

— Ты знала Ладимира? — ахнула Забава.

— Знала, — Ягиня усмехнулась, но в усмешке этой была не гордость, а печаль. — Я многих знала, девочка. Я старше этого леса. Старше реки, что течёт за порогом. Я помню времена, когда Кромка между мирами была тоньше паутины, а люди и духи говорили на одном языке.

Она встала, подошла к одному из стеллажей и сняла с полки небольшой глиняный горшочек. Открыла крышку, зачерпнула щепоть какого-то порошка и бросила в печь. Пламя взметнулось, зашипело, и в воздухе поплыли образы.

Яромир и Забава увидели молодого мужчину с открытым, смелым лицом. Он стоял на коленях перед Ягиней — но не той, что сидела сейчас в кресле, а той, что была моложе, с чёрными как смоль волосами и венцом из рябины на голове.

— Ладимир, — прошептала Ягиня. — Он пришёл просить защиты для своего Рода. В те времена люди часто враждовали, и слабые роды исчезали, как утренний туман. Ладимир хотел, чтобы его дети, внуки и правнуки жили в ладу. Чтобы помнили друг друга. Чтобы держались вместе.

В печи возник другой образ: Ягиня протягивает Ладимиру нечто светящееся — семь лучей, исходящих из одной точки.

— Я дала ему Семистрел, — продолжала Ягиня. — Не как вещь, а как благословение. Семь ветвей его Рода должны были нести семь добродетелей: Память, Силу, Мудрость, Веру, Любовь, Честь и Радость. Пока все семь живы и связаны друг с другом — Род защищён. Но...

Она замолчала. Пламя в печи потускнело, образы растаяли.

— Но? — не выдержал Яромир.

— Но появился тот, кого Пряха назвала Тусклым, — голос Ягини стал жёстким. — Он не человек и не дух. Он — голод. Голод забвения. Он питается тем, что люди забывают свои корни, ссорятся, расходятся. Чем слабее связь между родичами, тем он сильнее. И однажды ему удалось то, чего я боялась больше всего.

— Он отсек седьмую ветвь, — догадалась Забава.

— Да, — кивнула Ягиня. — Не просто убил — стёр. Сделал так, что о ней забыли все. Даже я... даже я не сразу вспомнила. Тусклый умеет прятаться в щелях памяти, в недомолвках, в старых обидах. Он как ржавчина — разъедает изнутри, незаметно.

— Кто была седьмая ветвь? — спросил Яромир. — Что с ней стало?

Ягиня долго смотрела в огонь. Потом перевела взгляд на тёмный угол избы, куда не доставал свет от печи.

— Искра, — позвала она негромко. — Выйди. Хватит прятаться.

Из темноты, откуда-то из-за стеллажей с горшками, вышла девушка.

Яромир и Забава замерли.

Она была примерно их ровесницей — может, чуть старше Яромира. Высокая, тонкая, с волосами цвета осенней листвы — рыжевато-золотыми, собранными в свободную косу. Глаза — серые, но с таким глубоким внутренним светом, будто за ними горела свеча. Одетая она была просто: в вышитую рубаху и тёмную понёву, на шее — обережный шнурок с камешком, светящимся тусклым, тёплым светом.

Но главное было не в этом. Главное было в том, что она мерцала. Не сильно, едва заметно, как отражение луны в воде. Словно она была здесь и не здесь одновременно.

— Это Искра, — сказала Ягиня. — Последняя из седьмой ветви. Вернее, единственная.

— Почему она... такая? — прошептала Забава.

— Потому что она наполовину там, — ответила Ягиня. — За Кромкой. Когда Тусклый стирал память о её Роде, он почти добился своего. Но её мать успела отдать девочку мне. Я спрятала её здесь, в избушке, на границе миров. Здесь время течёт иначе, и Тусклый не может её найти. Но и она не может полностью вернуться в Явь.

Искра подошла ближе. Движения её были лёгкими, почти невесомыми, будто она шла не по полу, а по воздуху. Она остановилась перед Яромиром и Забавой и посмотрела на них — долгим, изучающим взглядом.

— Вы из Рода Ладиминова, — сказала она. Голос у неё был тихий, но чистый, как звон ручья по камням. — Я чувствую. В вас течёт та же кровь, что и во мне.

— Ты наша... сестра? — спросил Яромир.

— Дальняя, — Искра слабо улыбнулась. — Очень дальняя. Но кровь помнит. Я слышала, как пел Семистрел. Вернее, как он пытался петь. У него не хватало голоса. Моего голоса.

— Поэтому ты должна пойти с нами, — поняла Забава. — Чтобы Семистрел снова запел! Искра перевела взгляд на Ягиню. Та кивнула.

— Пора, — сказала Ягиня. — Я держала тебя здесь, пока могла. Но сейчас Семистрел проснулся, и Тусклый тоже проснулся. Если не собрать все семь ветвей сейчас, он уничтожит не только Род Ладимиров. Он высосет краски из всего края. Вы уже видели Серость?

— Видели, — хором ответили Яромир и Забава.

— Это только начало. Он становится сильнее с каждым днём. С каждой ссорой в семье, с каждым забытым именем, с каждой непрощённой обидой.

Ягиня встала, подошла к печи и вытащила из золы **уголь**. Простой, чёрный, ещё тёплый. Она подула на него, и уголь вдруг засветился — не красным, а чистым белым светом.

— Вот, — она протянула уголёк Искре. — Это частица того первого огня, что горел в очаге Ладимира. Он поможет тебе удержаться в Яви. Но ненадолго. У вас есть время до первого снега. Если до тех пор Семистрел не запоёт всеми семью голосами, Искра угаснет окончательно. И Тусклый победит.

Искра взяла уголёк. Он засветился ярче, и мерцание вокруг девушки стало меньше — теперь она выглядела почти как обычный человек. Только в глазах остался тот внутренний свет.

— Я готова, — сказала она. — Я так долго ждала. Слушала, как вы живёте, ссоритесь, миритесь, рождаетесь и умираете. Я хочу увидеть Род своими глазами. Хочу услышать, как поёт Семистрел.

Ягиня повернулась к Яромиру и Забаве.

— Путь обратно будет нелёгким. Тусклый почует Искру, как только она покинет избушку. Он будет пытаться остановить вас. Ссорить. Путать. Пугать. Ваше главное оружие — держаться вместе. И ещё...

Она сняла с полки небольшой клубок — не серый и не белый, а словно сотканный из лунного света.

— Это Путеводная Нить. Она приведёт вас к тем, кто ещё не пришёл. К Златомиру, который уже в пути. И к... — она замялась. — К тем, о ком вы пока не знаете. Доверьтесь нити. И доверьтесь друг другу.

Яромир взял клубок. Он был тёплым и чуть пульсировал в ладони, как живой.

— Спасибо, Матушка, — сказал он, кланяясь.

— Потом благодарить будешь, — отмахнулась Ягиня. — Когда справитесь. А теперь ступайте. Время не ждёт.

Искра первой шагнула к двери. На пороге она обернулась и посмотрела на Ягину.

— Я вернусь, — сказала она. — Обещаю.

— Знаю, — тихо ответила Ягиня. — Я всегда знала.

Дверь отворилась, впуская серый осенний свет. Искра, Яромир и Забава вышли на поляну. Клубок в руке Яромира дрогнул и покатился по тропе, разматывая светящуюся нить.

В то же самое время, на тракте, ведущем из Стольного, Златомир гнал коня сквозь туман.

Туман был повсюду. Бесцветный, вязкий, он облеплял лицо, забирался под одежду, холодил не тело — душу. Конь всхрапывал, мотал головой, но шёл вперёд, повинувшись твёрдой руке.

Гвоздь в кармане Златомира то нагревался, то остывал, словно боролся с чем-то невидимым. Златомир сжимал его в кулаке и повторял про себя имена. Имя матери — Милана. Имя отца — Братислав. Имя бабушки — Мирослава. Имя деревни — Ладово. Он боялся, что забудет. Что туман выпьет эти имена, как выпил краски из городских улиц.

— Ладово, — шептал он. — Ладово. Ладово.

И вдруг туман впереди расступился.

Не весь — только узкий проход, словно кто-то раздвинул занавес. И в этом проходе, посреди тракта, стояла **женщина**.

Златомир натянул поводья. Конь заржал и встал на дыбы, но женщина не шелохнулась. Она была высокой, в тёмном плаще с капюшоном, и лица её было не разглядеть. Только руки — белые, тонкие, с длинными пальцами — были видны. В одной руке она держала **фонарь**.

Фонарь горел, но не огнём. Внутри него трепетал маленький, живой **светлячок**, излучавший тёплое, золотистое сияние.

— Кто ты? — хрипло спросил Златомир. — Что тебе нужно?

Женщина подняла голову. Капюшон упал, и Златомир увидел лицо.

Оно было **знакомым**. Очень знакомым. Он где-то видел эти глаза — тёмные, глубокие, как омут. Этот изгиб губ. Эту родинку на левой скуле.

— Ты не помнишь меня, — сказала женщина. Голос её звучал глухо, словно доносился издали. — Туман уже начал свою работу. Но ты держись. Молодец.

— Я тебя знаю, — медленно произнёс Златомир. — Я точно тебя знаю. Но не могу вспомнить откуда.

— Вспомнишь, — сказала она. — Когда доберёшься до дома. А пока — возьми.

Она протянула ему фонарь. Златомир, поколебавшись, взял. Светлячок внутри вспыхнул ярче, и туман вокруг отступил на несколько шагов.

— Это Светляк Памяти, — объяснила женщина. — Он будет гореть, пока ты помнишь, кто ты и откуда. Береги его. И поспеши. Твои братья и сёстры уже в пути.

— Кто ты? — повторил Златомир. — Скажи хотя бы имя!

Женщина улыбнулась — грустно и тепло.

— Узнаешь, — повторила она. — У Древа Рода. Там, где горят семь огней.

Она отступила в туман и исчезла, будто её и не было. Только фонарь остался в руке Златомира, и светлячок внутри него бился, как крошечное сердце.

Златомир пристроил фонарь на луку седла, тронул поводья и поехал дальше. Теперь туман расступался перед ним, словно боялся света.

А в голове его крутилось одно-единственное слово, которое он никак не мог ухватить. Имя. Женское имя. Оно вертелось на языке, ускользало, пряталось в тумане.

— Любава, — вдруг сказал он вслух, сам не понимая почему. — Любава...

Светлячок в фонаре радостно вспыхнул.

И Златомир понял: он на правильном пути.

Глава 6. Семь голосов

В которой Семистрел почти поёт, но одной песни не хватает, а Тусклый наносит первый удар.

К вечеру третьего дня после ухода Яромира и Забавы в Ладово собрались все, кроме Златомира.

Изба Бабушки Мирославы гудела, как улей. Такого сбора Род не помнил с давних времён — с последней свадьбы, которую играли ещё при жизни Деда Ведагора. Люди сидели на лавках, на полатах, даже на полу у печи, и воздух дрожал от напряжения.

Тверд стоял у двери, скрестив руки на груди, и хмуро смотрел в пол. Рядом с ним жались Голуба и Мирята. Жена кузнеца то и дело бросала тревожные взгляды на мужа — она никогда не видела его таким растерянным.

Богдан сидел за столом и крутил в руках венец Яромилы. Жемчуг на очелье мерцал, и в этом мерцании чудился какой-то ритм — будто венец дышал. Любава сидела напротив, прямая как струна, и молчала. Некрас, её сын, устроился в углу и рисовал что-то углём на бересте — никто не обращал на него внимания, а зря.

Светлана с Весняной заняли место у печи. Лесная затворница чувствовала себя неудобно среди людей, но держалась — ради дочери, ради памяти отца, ради того странного зова, что привёл её сюда.

Бабушка Мирослава сидела в красном углу, и Сундук Древа стоял перед ней на столе. Замок в виде птичьей лапы был закрыт, но лапа время от времени подрагивала, словно птица во сне перебирала коготками.

— Ждём, — сказала Бабушка в который раз. — Яромир и Забава должны вернуться сегодня. Я чувю.

— И кого они приведут? — спросил Тверд хмуро. — Что за седьмая ветвь, о которой все забыли?

— Увидишь, — ответила Бабушка. — И вспомнишь. Мы все вспомним.

В этот момент Некрас поднял голову от своей бересты и сказал негромко:

— Они идут. И с ними кто-то... светлый.

Все повернулись к мальчику. Любава побледнела.

— Откуда ты знаешь? — резко спросила она.

Некрас пожал плечами.

— Вижу. Как рисунок на воде. Она... не совсем здесь. Но и не там. Посередине.

Бабушка Мирослава пристально посмотрела на правнука. Глаза её сузились.

— Ты видишь Кромку, мальчик?

— Не знаю, как это называется, — ответил Некрас. — Просто вижу. Иногда.

Любава схватила сына за плечо, но Бабушка остановила её движением руки.

— Оставь. Это дар. От его отца, видно, передался. Купец-то твой, сказывали, из восточных земель был? Где волхвы до сих пор с духами говорят?

Любава медленно кивнула. Она никогда не рассказывала о муже. Даже имя его произносила редко — только шёпотом, по ночам, когда думала, что никто не слышит.

— Потом поговорим об этом, — сказала Бабушка. — А сейчас — и впрямь идут.

Дверь распахнулась.

На пороге стояли Яромир и Забава — уставшие, пропылённые, но с горящими глазами. А за ними, чуть позади, держась за косяк, стояла **она**.

Искра.

В избе стало тихо. Так тихо, что слышно было, как потрескивает лучина и как бьётся сердце — у каждого своё, но сейчас они словно бились в один такт.

Девушка переступила порог. И в тот же миг венец Яромилы в руках Богдана вспыхнул ярким светом, а Сундук Древа на столе вздрогнул так, что подпрыгнула крышка.

— Здравствуйте, Род, — сказала Искра. Голос её, тихий и чистый, прозвучал в тишине как первый аккорд песни. — Я вернулась. Хотя вы меня не помните.

Первой очнулась Бабушка Мирослава. Она поднялась, подошла к девушке и долго вглядывалась в её лицо. Потом вдруг всхлипнула — впервые за многие годы — и обняла Искру.

— Помню, — прошептала она. — Теперь помню. У тебя глаза твоей прабабки. Яромилы. Я видела её портрет в Сундуке, когда была маленькой. А потом... забыла. Как можно было забыть?

— Тусклый, — сказал Яромир. — Это его работа. Он питается забвением. И он уже близко.

— Дайте ей сесть, — засуетилась Милана, мать Яромира и Забавы. — Девочка еле на ногах стоит. Искорка... можно я буду тебя так звать?

Искра улыбнулась — впервые по-настоящему, светло и открыто.

— Можно. Меня так Ягиня звала.

Её усадили за стол, дали тёплого молока с мёдом, накинули на плечи платок. Род смотрел на неё — кто с удивлением, кто с недоверием, кто с надеждой. Но никто не остался равнодушным.

— Рассказывай, — велела Бабушка, когда все немного успокоились. — Всё, что знаешь. Кто ты, откуда, почему о твоей ветви забыли.

Искра отпила молока и начала говорить.

История её была долгой и печальной. Седьмая ветвь Рода пошла от младшей дочери Ладимира и Яромилы — от **Рады**. Та была не просто красавицей, а **ведуньей** — умела говорить с ветром, с огнём, с тенями предков. Она стала первой хранительницей Семистрела и жила на границе миров, у Калинова ручья, где потом поселилась Ягиня.

— Ягиня — моя прапрабабка, — сказала Искра. — Не по крови, а по духу. Она взяла Раду в ученицы, а потом и весь её Род под своё крыло. Мы были хранителями. Следили, чтобы связь между ветвями не рвалась. Но Тусклый... он нашёл лазейку.

Тусклый, по словам Искры, не мог напрямую навредить Роду — мешало благословение Ягини. Но он умел другое: шептать. На ухо. Годами. Десятилетиями. Он нашёптывал обиды, раздувал мелкие ссоры, заставлял забывать важное и помнить пустое. И однажды ему удалось поспорить седьмую ветвь с остальными так сильно, что Род... отвернулся.

— Вас не просто забыли, — тихо сказала Бабушка. — Вас **вычеркнули**. Из памяти, из песен, из родословных. Я слышала об этом. Старики говорили: был в Роду кто-то, кого нельзя называть. Но никто не помнил почему.

— Тусклый постарался, — кивнула Искра. — Он почти уничтожил нас. Моя мать умерла, когда мне было три года. Ягиня забрала меня и спрятала. А остальные... их больше нет. Я последняя.

В избе повисло тяжёлое молчание. Тверд смотрел в пол, сжимая кулаки. Богдан вертел в руках венец, и жемчуг на нём светился всё ярче. Светлана плакала — беззвучно, одними глазами.

— Мы виноваты перед тобой, — сказала вдруг Любава. — Перед твоим Родом. Мы отвернулись. Забыли. Бросили.

— Не вы, — покачала головой Искра. — Ваши предки. А вы — только помните. Или забудете снова. Это ваш выбор.

— Не забудем, — твёрдо сказал Яромир. — Мы для того и собрались.

Бабушка Мирослава подошла к Сундуку Древа и положила на него ладонь.

— Пора, — сказала она. — Семь ветвей здесь. Почти все. Златомир ещё в пути, но его сердце уже с нами. Попробуем зажечь Семистрел.

Она открыла Сундук.

Внутри, на бархатной подкладке, лежал **Семистрел**. Это была не вещь в привычном понимании — скорее, светящаяся конструкция из семи лучей, исходящих из одной точки. Каждый луч имел свой цвет: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, золотой и чёрный. Но все они были тусклыми, едва мерцающими, словно угасающие свечи.

— Встаньте вокруг, — велела Бабушка. — Каждая ветвь — к своему лучу.

Она указала места:

— Коренная ветвь — Память. Братислав, Милана, Яромир, Забава. Встаньте к красному лучу.

Они встали.

— Ремесленная ветвь — Сила. Тверд, Голуба, Мирята. К синему.

Тверд, поколебавшись, подошёл. Сын и жена — за ним.

— Лесная ветвь — Мудрость. Светлана, Весняна. К зелёному.

Светлана взяла дочь за руку, и они встали к своему лучу.

— Речная ветвь — Вера. Богдан. К жёлтому.

Богдан подошёл, всё ещё сжимая венец.

— Кочующая ветвь — Любовь. Любава, Некрас. К белому.

Любава подтолкнула сына вперёд, и они заняли своё место.

— Городская ветвь — Честь. Златомир ещё в пути, но его дух здесь. Пусть луч ждёт. —

Она указала на золотой луч. — Встаньте за него. Я встану. Я старая, но кровь та же.

Бабушка шагнула к золотому лучу.

— И седьмая ветвь — Радость. Искра. К чёрному лучу.

Искра медленно подошла к последнему, чёрному лучу. Он был темнее ночи, но не пугал — он был как бархатное небо перед рассветом, полное скрытых звёзд.

— Теперь — пойте, — сказала Бабушка.

— Что петь? — растерянно спросила Забава.

— Что сердце подскажет. Каждый — своё. Но вместе.

Первой запела Искра.

Голос её, чистый и высокий, взлетел под потолок, и чёрный луч вспыхнул — не мраком, а глубоким, звёздным светом. В нём замерцали искры, как в летнем небе.

Второй вступила Забава. Она пела про печь, про сверчка, про дедову бересту. Красный луч загорелся ярче.

Яромир запел третьим — низко, глухо, про землю и корни. Красный луч теперь пылал.

Тверд, поколебавшись, открыл рот и загудел — не словами, а звуком, похожим на гул наковальни. Синий луч отозвался, засветился.

Светлана запела тихо, на грани слышимости, но лесной мотив подхватили все, и зелёный луч ожил.

Богдан, сам того не ожидая, запел старую рыбацкую песню — про реку, про волю, про то, что всё возвращается на круги своя. Жёлтый луч засиял.

Любава запела колыбельную — ту, что пела Некрасу в самые страшные ночи. Белый луч стал тёплым, как молоко.

Бабушка Мирослава запела последней — древнюю, почти забытую песнь Первопредков. Золотой луч вспыхнул, но не ровно, а прерывисто, мигая.

Шесть лучей горели. Седьмой, чёрный, сиял звёздами.

Но Семистрел **не запел**.

Чего-то не хватало. Лучи горели каждый сам по себе, но не сливались в единое целое. Середина, откуда они исходили, оставалась тёмной.

— Златомира нет, — прошептала Забава. — Без него не выходит.

— Не только в нём дело, — сказала Бабушка, тяжело дыша. — Мы не в ладу. Даже сейчас. Посмотрите друг на друга.

Все посмотрели. И увидели: Тверд стоит, отвернувшись от Светланы. Богдан избегает взгляда Любавы. Дети жмутся к родителям, но между взрослыми — стена.

— Тусклый уже здесь, — тихо сказала Искра. — Он не снаружи. Он внутри. В наших старых обидах. В несказанных словах. В непрощённых грехах.

В этот момент дверь избы распахнулась сама собой, и в дом ворвался ветер. Холодный, бесцветный, пахнувший пылью и забвением. Лучи Семистрела задрожали, потускнели.

И все услышали **шёпот**.

Он звучал сразу отовсюду и ниоткуда. Шёпот на грани слышимости, вкрадчивый, ласковый, ядовитый.

«Зачем вы собрались? Всё равно ничего не выйдет. Вы чужие друг другу. Тверд ненавидит Светлану за то, что она ушла. Светлана презирает Тверда за грубость. Любава — чужачка, её сын — полукровка. Богдан — пьяница и пустозвон. А Искра... да кто она вообще такая? Вы её не знаете. Вы её не помните. Она вам не родня...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.